

А. А. ФЕТ

БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК Н. Н. СТРАХОВА

Афанасий Афанасьевич Фет родился 23 ноября 1820 года в Новоселках (прежде Козюлькино), деревне, в семи верстах от Мценска, на реке Зуше. Отец его, ротмистр в отставке, Афанасий Неофитович Шеншин, принадлежал к старому и обширному роду Шеншиных, различные члены которого владели половиною всего Мценского уезда, и был богатым помещиком, жившим в деревне, так что поэт вырос исключительно под влиянием тогдашнего помещичьего быта. Фамилия Фета произошла следующим образом. Афанасий Неофитович во время своего пребывания в Германии в 1819 году женился в Дармштадте на г-же Шарлотте Фет (Foeth), дочери обер-кригс-комиссара К. Беккера, носившей фамилию Фет по своему первому мужу, с которым она развелась и от которого имела дочь *. Первым плодом брака А. Н. Шеншина был Афанасий Афанасьевич, который до 14 лет своего возраста и писался Шеншиным, но потом долго носил фамилию своей матери, так как обнаружилось, что лютеранское благословение на брак ** не имело у нас законной силы, а православное венчание было совершено после его рождения. Из следовавших затем детей два брата

* Каролину Петровну Фет, бывшую потом замужем за А. И. Матвеевым, ректором Киевского университета.

* См.: Мои воспоминания 1848—1889 гг. А. Фета, 2 части. Ч. II. М., 1890. С. 275.

и две сестры Шеншиных были постоянными членами семьи, в которой рос Афанасий Афанасьевич.

В его памяти сохранялись с большою яркостью события и картины детства, проведенного в Новоселках. Главное влияние имели два лица: мать, язык которой, наравне с русским, стал родным языком ребенка, и дядя Петр Неофитович, восприемник матери, по которому она звалась Елизаветой Петровной, чрезвычайно любивший своего старшего племянника, большой почитатель поэзии и истории. Случайно попалась мальчику тетрадка с переписанными поэмами «Кавказский пленник» и «Бахчисарайский фонтан»: он с величайшим наслаждением выучил наизусть эти поэмы и приводил ими в восторг своего дядю.

Особенное положение в семье, по которому он не мог носить фамилию своего отца, имело огромное значение в жизни Афанасия Афанасьевича. Ему приходилось выслужить себе дворянские права, в которых он не был утвержден отчасти по случайности, отчасти по своеобразности отца, запустившего это дело. Поэтому он постарался кончить курс в университете и потом принялся ревностно служить.

До 14 лет он жил и учился дома, в Новоселках. Затем он был увезен в пансион Крюммера в городке Верро, в Лифляндии, где провел три года. В 1837 году его перевезли в Москву и поместили в число молодых людей, живших у М. П. Погодина, нашего известного историка. Через полгода он поступил в университет, сперва на юридический факультет, но уже через несколько недель перепросился на филологический, на котором и кончил курс в 1844 году действительным студентом.

Московский университет находился в это время в самой блестящей своей поре. В числе профессоров были: Шевырев, Грановский, Крюков, Крылов, Редкин¹; Шевырев стал почитателем и покровителем поэта. В числе товарищей были Аполлон Григорьев, Я. П. Полонский, К. Д. Кавелин, кн. В. А. Черкасский² и др. Почти все студенческое время Афанасий Афанасьевич прожил в семье Григорьевых. Аполлон Александрович от начала стал его горячим поклонником, собирал и подводил под особые отделы его стихотворения. Они уже тогда так высоко ценились, что ободренный похвалами поэт решился издать свои произведения отдельной книжкою: «Лирический Пантеон А. Ф. Москва, 1840», не имевшей, однако, никакого успеха, хотя благосклонно встреченной журналами. В «Москвитянине» 1842-го и следующих годов нередко помещались стихотворения Фета, и А. Д. Галахов³ с большою смелостью внес некоторые из них в свою «Хрестоматию» (1843 г., первое издание). Наибольшее влияние на поэта имел Гейне, кото-

рым тогда зачитывалась молодежь. Но наш поэт усвоил от Гейне только его чудесные художественные приемы и бессознательно вкладывал в них совершенно иное содержание: свежее, радостное чувство красоты.

Новая полоса жизни началась для Афанасия Афанасьевича с поступлением в военную службу. В 1845 году, 21 апреля, он был принят унтер-офицером в кирасирский Военного ордена полк. Постепенно он был произведен в корнеты (14 марта 1846 г.), в поручики (14 августа 1849 г.), и штаб-ротмистры (6 декабря 1851 г.). В 1853 году, 2 мая, он был прикомандирован к лейб-гвардии уланскому Его Величества полку и 28 января 1854 года произведен в поручики сего полка. Во время Крымской войны, в 1854 году (с 8 марта по 7 октября) и в 1855 году (с 16 апреля по 15 ноября), он находился в составе войск, охранявших берега Эстляндии. В 1856 году (23 июня) уволен в отпуск, сперва на 11 месяцев, а потом в бессрочный, и, наконец, 27 января 1858 года вышел в отставку штаб-ротмистром. Но дворянских прав ему не удалось достигнуть, так как чиновный ценз на эти права все повышался по мере того, как он подвигался по службе.

Время военной службы было второю яркою эпохой в жизни Афанасия Афанасьевича. Много трудов и волнений, много радостей, строгая дисциплина службы, множество разнообразных лиц, успехи в любви, в дружбе, в литературе — всем была богата эта жизнь. И можно прямо сказать, что на Афанасии Афанасьевиче до конца были ясно видны два отпечатка: старого помещичьего быта, с его тонкою общительностью и изяществом жизни, и военной службы николаевских времен, с ее строгим пониманием власти и обязанности.

Эти годы были расцветом его поэтической деятельности. Уже в 1850 году он нарочно приезжал в Москву, чтобы напечатать сборник своих произведений: «Стихотворения А. Фета. Москва, 1850». Книжка была встречена в литературе похвалами, даже восторженными, но расходилась плохо. Зато журналы наперерыв печатали стихи Афанасия Афанасьевича, и это приносило ему доход не маловажный для его тогдашних средств. Перейдя в гвардию, он воспользовался в Петербурге первым случаем, чтобы познакомиться с кружком «Современника»: Некрасовым, Панаевым, Дружининым, Лонгиновым, Анненковым, Гончаровым, М. А. Языковым⁴, и пр., и тут же встретил прежних своих знакомых: Тургенева и В. П. Боткина⁵. Позднее он познакомился у Тургенева с Л. Н. Толстым, вернувшимся из Севастополя. Этот кружок высоко ставил нашего поэта; например, Тургенев тогда писал ему однажды: «Что Вы мне пишете о Гейне? Вы выше Гейне, потому что

шире и свободнее его,» * — оценка, в которой много справедливого. Во главе кружка стоял, конечно, Тургенев, и под его председательством кружок решил общими силами выбрать, очистить и красиво напечатать собрание стихотворений Афанасия Афанасьевича. Это и была книга «Стихотворения А. А. Фета. СПб., 1856».

С оставлением военной службы совпадает вторая и самая большая поездка за границу ** и женитьба. В Париже Афанасий Афанасьевич женился (16 августа 1857 г.) на Марье Петровне Боткиной, сестре своего давнишнего почитателя и приятеля, Василия Петровича Боткина. После женитьбы три года были проведены зимою в Москве, а летом в Новоселках, принадлежавших (по смерти Афанасия Неофитовича, 1855 г.) замужней сестре, Борисовой. Но оставаться без дела Афанасий Афанасьевич не мог, и для него наступила пора новых усилий. С согласия жены он решил серьезно посвятить себя сельскому хозяйству и в 1860 году купил за 20 тысяч (из приданных денег) Степановку, хутор с 200 десятин земли, во Мценском уезде. Это было ровное голое место, где стоял небольшой дом, только что построенный и еще вовсе не отделанный, где не было ни речки, ни дерева и росла лишь в стороне березовая рощица на трех десятинах. Тут Афанасий Афанасьевич энергически принялся хозяйничать и жил 17 лет, лишь зимою наезжая ненадолго в Москву. Он отделал дом и расширил его пристройками, развел цветники, насадил аллеи, выкопал пруды и колодцы и, главное, усердно повел хлебопашество.

К этому времени относятся его служба мировым судьей в течение 10,5 лет (1867—1877) ***, его статьи по вопросам о сельских порядках, очень редкое писание стихов, которые тогда, как он убедился, уже не могли составлять для него какой-нибудь «материальной опоры» ****, и постепенное возрастание его имущества, достигшего под конец той величины, которою можно назвать богатством.

По высочайшему указу 26 декабря 1873 года была, наконец, утверждена за Афанасием Афанасьевичем отцовская фамилия Шеншина со всеми связанными с нею правами.

* Мои воспоминания. Ч. I. С. 104.

** В первый раз он ездил за границу по выходе из университета, именно в Дармштадт, за маленьким наследством, доставшимся его матери, и за своей сестрою Каролиной Петровной, переселившейся в Россию.

*** Мои воспоминания. Ч. II. С. 124.

**** Там же. Ч. I. С. 314, 440. «Оскудение этого источника было причиною бегства в Степановку». В начале поселения в Степановке были, однако, напечатаны Солдатенковым «Стихотворения А. А. Фета. 2 части. Москва, 1863».

В 1877 году Афанасий Афанасьевич решил бросить Степановку и купил за 105 тысяч рублей Воробьевку (так называемую Ртищевскую Воробьевку, по фамилии давнишнего владельца) в Щигровском уезде Курской губернии, на реке Тускари, в десяти верстах к востоку от известной Коренной пустыни⁶. Деревня Воробьевка стоит на левом, луговом берегу реки, а господская усадьба на правом берегу, очень высоко. Каменный дом окружен с востока каменными же службами, а с юга и запада огромным парком на 18 десятинах, состоящим большею частью из вековых дубов. Место так высоко, что из парка ясно видны церкви Коренной пустыни. Множество соловьев, грачи и цапли, гнездящиеся в саду, цветники, разбитые по скату к реке, фонтан, устроенный в самом низу против балкона,— все это отразилось в стихах владельца, писанных в этот последний период его жизни.

Вообще, тут началась новая жизнь. Хозяйство, как на 850 десятинах, прилегавших к Воробьевке, так и в других имениях, велось управляющим, а сам владеец, можно сказать, вернулся к литературе. Кроме стихотворений, внушенных минутами вдохновения, началась непрерывная работа переводов. Были переводимы: Шопенгауэр («Мир как воля»), Гёте («Фауст»), Овидий, Вергилий, Катулл, Тибулл, Марциал⁷. Во всех этих трудах Афанасий Афанасьевич подписывался Фетом, дорожа именем, которому он приобрел такую громкую известность, и как будто твердо желая установить различие между поэтом и человеком,— то различие, которое часто было темой его разговоров. Под этим именем, принадлежащим к самым драгоценным именам нашей литературы, выпускаются и настоящие книги.

В воробьевский период были издаваемы собрания стихотворений под заглавием «Вечерние огни», первая книга в 1883 году, второй выпуск в 1885-м, третий — в 1888-м, четвертый — в 1891-м.

В 1881 году был куплен в Москве, на Плющихе, небольшой дом, и с тех пор установился тот обычный порядок жизни, в котором она шла до конца. Зимой Афанасий Афанасьевич проводил в Москве, раннею весною, никак не позже 15 апреля, переезжал в Воробьевку и оставался там до последних чисел сентября.

Эту последнюю эпоху жизни поэта можно назвать временем довольства, житейского покоя и почета, прочной славы и спокойной литературной деятельности. Под конец он задумал написать свои воспоминания и оставил нам две большие книги: «Мои воспоминания» (1848—1889), 2 тома, Москва, 1890 г., и «Ранние годы моей жизни», Москва, 1893 г. (посмертное издание). Тут читатели найдут множество всякого рода подробностей этой деятельной

и разнообразной жизни. Прибавим лишь не занесенные туда главные события.

К их числу нужно отнести сближение с великим князем Константином Константиновичем. Как ревностный почитатель таланта Афанасия Афанасьевича, великий князь прислал ему в первых числах декабря 1886 года книгу своих стихотворений и письмо. Отсюда началась переписка, не прерывавшаяся до конца жизни. В 1887 году старец-поэт ездил в Петербург и лично представлялся великому князю. Эти отношения он высоко ценил, и они составляли большую радость его последних дней.

В 1889 году, 28 и 29 января, был с большим торжеством празднован в Москве пятидесятилетний литературный юбилей Фета. Вслед за тем, 26 февраля, Государю угодно было пожаловать юбиляру звание камергера.

Уже лет тридцать страдал Афанасий Афанасьевич одышкой, постоянно усиливавшейся, несмотря на всякие предосторожности. Не раз встречаются и в стихах его жалобы на «трудное дыхание». Впоследствии, лет за десять до смерти, к этому присоединилось хроническое воспаление век. В 1892 году, по приезде в Москву, он заболел бронхитом; эта болезнь прошла, но общая слабость усилилась, и 21 ноября, в полдень, поэт скончался, не доживши двух дней до 72 лет. Хотя его многолетняя болезнь в последние годы была мучительно тяжела, он бодро переносил ее, жаловался очень мало и редко, в последний день он был на ногах, но, чувствуя приближение роковой минуты, уговорил жену выехать за какой-то покупкой и умер, присевши на стул в своей столовой.

Вообще, душевные качества Афанасия Афанасьевича представляли очень заметное и прекрасное своеобразие. Он обладал энергиею и решительностью, ставил себе ясные цели и неуклонно к ним стремился. Ему всегда нужна была деятельность; он не любил бесцельных прогулок, не любил оставаться один или молча погружаться в книгу; когда же имел собеседников, был неистощим в речах, исполненных блеска и парадоксов. Переписка с друзьями и знакомыми составляла для него не тягость, как для большинства писателей, а наслаждение. Стихотворения его были не плодом обдумывания и труда, а прямыми дарами вдохновения. В них обыкновенно нет никаких вступлений, а прямо изливается чувство, возникшее в известную минуту, в известной обстановке. Что касается его характера, то близко знавшие его согласятся без всяких колебаний с Василием Петровичем Боткиным, который приписывает ему «чистое, доброе, наивное сердце» *

* Мои воспоминания, Ч. II. С. 96.

Отпевание происходило 24 ноября в университетской церкви, и потом гроб был отвезен Марьей Петровною в село Клейменово, в двадцати пяти верстах от Орла, во Мценском уезде. Село это — родовое имение Шеншиных. Там на кладбище старой церкви похоронены отец и мать Афанасия Афанасьевича и некоторые члены предыдущего поколения Шеншиных. Но сам он положен не здесь, а в склепе под новою церковью.

Там же похоронили и Марью Петровну, скончавшуюся 21 марта 1894 года. Детей у них не было.

ЗАМЕТКИ О ФЕТЕ Н. Н. СТРАХОВА

I

«Вечерние огни». Собрание неизданных стихотворений А. Фета. Москва, 1883.

Жалко было бы пропустить без всякого привета эту чудесную книжку, вышедшую в настоящем году, — этот листок чистого золота, появившийся среди мишуры и фольги и того хлама ломаных гвоздей и ржавых жестяных листов, с которым можно и всегда, а особенно теперь, сравнить общую массу литературных явлений.

«Вечерние огни» — чистая поэзия в том смысле, что тут ни в мысли, ни в образе, ни в самом звуке нет никакой примеси прозы. Это — особая область, и счастлив тот, кому она доступна, и не без основания сердятся на нее те, кто не может в нее проникнуть, кому нужны для этого большие прозаические подмости, чья грузная мысль не может двигаться, не опираясь прямо на землю. Больше всего у Фета поразительна именно та легкость, с которою он подымается в область поэзии. Эта область у него граничит, по видимому, с самыми обыденными предметами и мыслями. Обыкновенно он не воспевает жарких чувств, отчаянья, восторга, высоких мыслей — всего того, что считается почти непременною принадлежностью поэзии. Нет, он очень часто останавливается на чем-нибудь самом простом, на первой встретившейся картине природы, на переменах дня и ночи, на дожде и снеге или же на самом простом движении мысли и чувства, и вдруг магическим стихом он преображает все это в яркую красоту, в чистое золото поэзии. В этом отношении он величайший чародей, несравненный поэт; чтобы отделиться от земли ему не нужно никакого прыжка, почти вовсе не нужно усилия. Оттого-то тому, кто его не понимает, он может показаться вычурным и малосодержательным, тогда как для понимающего он самый прямой и полный жизни поэт. От

свободы и легкости творчества зависит и тот радостный и светлый тон, то чувство света и покоя, которое слышится в его поэзии. Ни воплей и стонов, ни крика и хохота здесь не слышать, оттого что все становится музыкой, все преобразается в пение. Кто доступен этому волшебству, тот с изумлением начинает видеть — не то, что поэзия, как иные толкуют, есть нечто чуждое для жизни, а то, что повсюду в жизни резкая черта отделяет красоту и прелесть от грязи и пошлости.

Фет очень небрежен. Его стихотворения, несмотря на образцовую краткость, свойственную лирике, часто не имеют полной правильности в постройке, того отвлеченного порядка, который так помогает прозаическим читателям. Но этого нашему поэту и не нужно: каждый стих у него с крыльями, каждый сразу подымает нас в область поэзии. Когда он скажет, например:

Та трава, что вдали на могиле твоей,
Здесь на сердце, чем старей оно, тем свежей,

то эти два стиха производят такое же впечатление, как целая книга лирики. Тут и молодая любовь, и смерть, и долгие годы, прожитые после этой смерти, и далекая могила, и старое сердце, давно ставшее могилой любимого существа, могилой свежей, даже вечно свежающей. Прелесть этого по-фетовски смелого, но простого и ясного образа бесподобно выражает нежность внушившего его чувства, бесконечную нежность, которая с годами все глубже, все светлее, но горит, как в первую минуту.

Не всякому времени дается чувство поэзии. Фет точно чужой среди нас и очень хорошо чувствует, что служит покинутому толпою божеству:

А я, по-прежнему смиренный,
Забывтый, брошенный в тени,
Стою коленапреклоненный
И, красотой умиленный,
Зажечь вечерние огни.

И это правда: его звуки по-прежнему — одно поклонение прекрасному, одно чистое золото поэзии; в них слышались только, кроме прежних, еще новые, глубокие и важные струны.

Недурно было бы сказать нашим бесчисленным стихотворцам (ибо им конца нет), что этой книжки Фета им следует не выпускать из рук; при ее помощи, если Аполлон пошлет им, наконец, разумение, они могли бы убедиться, что и те стихотворения, которые появляются в печати, и те страшные груды стихов, которые в редакциях постоянно предаются уничтожению, — что все это, почти без всякого исключения, пишется только по неведению, то есть потому, что авторы не имеют и понятия о том, что такое настоящие стихи.

II ЮБИЛЕЙ ПОЭЗИИ ФЕТА

А я, по-прежнему смиренный,
Забывтый, брошенный в тени,
Стою коленопреклоненный
И, красотой умиленный,
Зажечь вечерние огни.

Сегодня празднуется пятидесятилетие писательской деятельности Афанасия Афанасьевича Фета (Шеншина), и хотелось бы нам высказать ему публично самые лучшие похвалы, каких он стоит и какие мы способны почувствовать и выразить. Давно знают понимающие, что он в своем роде поэт единственный, несравненный, дающий нам самый чистый и настоящий поэтический восторг, истинные бриллианты поэзии. У понимающих дело давно сложилась поговорка, что кто восхищается стихами Фета, тот действительно знает толк в поэзии, а кто не чувствует любви к этим стихам, тот вообще не знает настоящего вкуса в стихах, как бы он ни восторгался другими поэтами. Это верно как нельзя больше, и чем дальше будет идти время, тем яснее будет это для всех, тем тверже установится мысль, что Фет есть истинный пробный камень для способности понимать поэзию. Если теперь еще много равнодушных к его произведениям, много не умеющих их ценить, то это происходит, по-видимому, от узкости той сферы, которой держится поэт, оттого, что он не касается того разнообразного множества мыслей и чувств, которое занимает различных людей. Хотя Фет лирик, следовательно, принадлежит к простейшему, распространеннейшему и доступнейшему роду поэтов, хотя романс есть даже любимейшая форма русских читателей, но Фет как будто не трогает сильно ни одной из бесчисленных струн души, звон которых может отзываться в лирической поэзии. Что же он выражает? Он певец и выразитель отдельно взятых настроений души или даже минутных, быстро проходящих впечатлений. Он не излагает нам какого-нибудь чувства в его различных фазисах, не изображает какой-нибудь страсти с ее определившимися формами в полноте ее развития; он улавливает только один момент чувства или страсти, он весь в настоящем, в том быстром мгновении, которое его захватило и заставило изливаться чудными звуками. Каждая песня Фета относится к одной точке бытия, к одному биению сердца и потому неразложима; это — аккорд, в котором на звук мгновенно тронутой струны вдруг гармонически отозвались другие струны. И по тому самому тут красота, естественность, искренность, сладость поэзии доходят до полного совершенства. Поэт как будто доволен только тогда, когда может вполне облечь свое настроение в певучие слова, когда найдет

формы и звуки для самых ускользающих и тайных движений, проснувшихся в его душе. И потому он не выбирает предметов, а ловит каждый, часто самый простой случай жизни; он не составляет сложных картин и не развертывает целого ряда мыслей, а останавливается на одной фигуре, на одном повороте чувства. Если взять Фета, с одной стороны, то мы не только не найдем в нем однообразия, а будем изумлены шириною его захвата, разнообразием и множеством его тем. Как чародей, который, до чего ни коснется, все обращает в золото, так и наш поэт преобразует в чистейшую поэзию всевозможные черты нашей жизни. Ночь и день и все часы ночи и дня, вёдро и ненастье, дождь и снег, все времена года и все высоты солнца, месяц и звезды, сады и степи, море и горы — все отозвалось в душе поэта; здоровье и болезнь, тоска и радость, бдение и сон, любовь и музыка, надежды и воспоминания, бред и сновидения во всех их степенях и формах — словом, все переливы нашего существования, от самых будничных состояний до самых возвышенных, нашли себе поэтическое выражение. Какие чудеса! Кто любит и понимает Фета, тот становится способным чувствовать поэзию, разлитую вокруг нас и в нас самих, то есть научиться видеть действительность с той стороны, с которой она является красотою, является попыткой воплотить смысл и жизнь, осуществить идеал. Бесценная заслуга поэта, право на величайшую благодарность! Он, как ярко загоревший факел среди ночи, вдруг освещает все предметы и далеко разгоняет сумрак, в котором мы живем.

Будем же у него учиться. Иногда трудно понять его с первого раза, потому что у него обыкновенно нет вступлений, объяснений, и он прямо входит в *medias res*⁸, в изображение минуты, пробудившей в нем поэтическую силу. Его стихи — как будто внезапная молния поэтического озарения действительности. Первые куплеты часто есть только затихающий аккорд. Наконец, поэт, сосредоточиваясь на нескольких стихах, часто небрежен и неясен в остальных. Но зато когда вникнем и поймем, нас поразит совершенство этих песен. Стих Фета имеет волшебную музыкальность и при том постоянно разнообразную; для каждого настроения души у поэта является мелодия, и по богатству мелодии никто с ним не может равняться*. Образность, реалистическая точность изоб-

* Фет почти никогда не берет ходячей мелодии (которая, разумеется, сама по себе не есть что-нибудь непозволительное). Он очень богат своими звуками, и он до последнего времени запекает на новый, неслыханный прежде лад. Так, недавно, он написал удивительное стихотворение: «Измучен жизнью, коварством надежды», очень своеобразное по мелодии. Отчасти своеобразие.

ражения, смелость, не знающая пределов, нежность, грация, порыв, разом уносящий нас от земли в область идеала,— все это постоянные принадлежности Фета. Наконец, позволим себе выражение, которое, нам кажется, обнимает почти всю эту характеристику: стихи Фета всегда имеют совершенную свежесть; они никогда не заношены, они никаких других стихов, ни своих, ни чужих, не напоминают; они свежи и непорочны, как только что распутившийся цветок; кажется, они не пишутся, а рождаются целиком.

Для такого обилия и совершенства поэзии, для такой полной отзывчивости на каждый призыв музыки, очевидно, нужно обладать бодрою и ясною душою. И действительно, мы не найдем у Фета ни тени болезненности, никакого извращения души, никаких язв, постоянно ноющих на сердце. Всякая современная разорванность, неудовлетворенность, неисцелимый разлад с собой и с миром,— все это чуждо нашему поэту. Недаром он питает такую великую любовь к Горацию и вообще к древним; он сам отличается совершенно античною здравностью и ясностью душевных движений, он нигде не переходит черты, отделяющей светлую жизнь человека от всяких демонических областей. Самые горькие и тяжелые чувства имеют у него бесподобную меру трезвости и самообладания. Поэтому чтение Фета укрепляет и освежает душу.

Вечный, нерукотворный памятник воздвигнул себе Фет! По яркости, законченности он — явление необыкновенное, единственное; мы можем гордиться им пред всеми литературами мира и причислить его к неумирающим образцам истинной поэзии. К нашей радости, он пишет до сих пор, и пишет с тою же силой, с неувядающей свежестью. В нынешний торжественный день всем нам следует сердечно приветствовать его, сердечно желать бесценному поэту здоровья на многие годы.

это зависит от размера, которого, кажется, еще никто не употреблял. Это два ямба и два анапеста: размер чрезвычайно красивый. Например:

И так прозрачна огней бесконечность,
И так доступна вся бездна эфира,
Что прямо смотрю я из времени в вечность
И пламя твое узнаю, солнце мира!
И неподвижно на огненных розах
Живой алтарь мирозданья курится:
В его дыму, как в творческих грезах,
Вся сила дрожит и вся вечность снится.
И все, что мчится по безднам эфира,
И каждый луч плотский и бесплотный.

III

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ПАМЯТИ ФЕТА

Omnia praeclara tarn difficilia, quam rara sunt.
*Spinoza*⁹

Как трудно все на свете, как мучительно трудно! Едва закрылась могила Фета, как мы принимаемся произносить свои приговоры об его стихах, обсуживать значение его поэтической деятельности. Может быть, лучше было бы помолчать, лучше бы переждать, пока затихнут скорбные чувства, пока образ умершего поэта перестанет вставать между нами и его неумирающей поэзией. Но молчать нельзя, необходимо торопиться и воспользоваться тем, что внимание публики возбуждено, что у читателей на минуту возник вопрос: что же такое Фет и как нам следует ценить его? Для огромного большинства тех, до кого дошло имя поэта, этот вопрос, как известно, — чистая загадка; теперь удобное время отвечать на вопрос и загадку, и почитатели великого таланта должны постараться писать, хотя бы сквозь слезы.

Фет был поэтом вполне и до конца; и поэтому прославлять его — значит то же, что прославлять поэзию. И наоборот: для понимания тайны поэтического творчества он такой живой и ясный пример, какого другого не найти. Он сам, конечно, хорошо сознавал, что носит в себе эту тайну, и часто выражал ее очень странными речами. Он говорил, что поэзия и действительность не имеют между собою ничего общего, что как человек он — одно дело, а как поэт — другое. По своей любви к резким и парадоксальным выражениям, которыми постоянно блестел его разговор, он доводил эту мысль даже до всей ее крайности; он говорил, что поэзия есть ложь, и что поэт, который с первого же слова не начинает лгать без оглядки, никуда не годится.

Люди, всею душою погруженные в действительность, твердо в нее верящие и постоянно хватающиеся за нее всеми возможными способами, должны прийти в великий соблазн от таких речей.

«Чем хвалится, безумец!»¹⁰

Значит, — скажут они, — мы были правы, не находя в поэзии вкуса и не видя в ней никакого толка. Но заметим, что поэт, говоря такие речи, конечно, не хотел унижить то, чем он жил и дышал, то есть поэзию. Он хотел со всею резкостью выразить, до какой степени поэзия преобразует действительность, возводит ее в «перл создания»; как истый лирик, он хотел научить нас, что внешний мир есть только повод к поэзии, что она коренится и растет лишь в нашем внутреннем мире. И, подумавши, мы убе-

димся, что поэт своим парадоксом хотел понизить достоинство не поэзии, а действительности.

Мы, бедные жители земли, обречены на постоянный обман. Вокруг нас все тлен и прах, все носит печать зла и безобразия. Но нам во всем этом видится что-то прочное и твердое, нам все это кажется тем единственным, в чем мы можем найти удовлетворение наших желаний. И вот отчего мы преданы вечному исканию, вечной борьбе, вечному разочарованию. А между тем у нас есть истинная, не обманчивая действительность, которую мы забываем в погоне за ложною; эта действительность — наше чувство, наша душа. «Gefühl ist alles», «чувство — все», говорит Фауст у Гёте. Кто признает свою душу за настоящую действительность, для того этот мир станет призрачным. А кто, напротив, считает этот призрак полною и совершенною действительностью, тот должен душу свою считать чистою мечтою и видеть в поэзии, в этом прямом порождении души, одну лишь ложь. Вот что хотел сказать наш лирик своим парадоксом.

Но призрак ли мир, или действительность, — не все ли равно? — он недоступен, он объемлет нас отовсюду, он не дает нам покоя и тянет нас к себе, иногда ласкает и убаюкивает, но чаще терзает нас. Где спасение, где убежище? В песне, — отвечал себе Фет, и он был прав: те песни, которые он пел всю жизнь, были действительным его спасением, его освобождением от мира.

Всегда и всюду мы связаны, не можем двинуться, не можем ни о чем подумать, не встречая помехи, не тяготясь прошлым, не страшась будущего, не стесняясь окружающим. Но в песне мы вполне свободны, и кто умеет петь, испытывает это великое блаженство. Пение, как молитва, принадлежит к тем человеческим делам, которые человек может делать один, про себя, и в которых может достигать полного своего удовлетворения. Не будь мы способны к таким делам, бедственность нашей жизни увеличилась бы неизмеримо. Поюшему песню, очевидно, ничего и никого не нужно, кроме самой песни. Он поет только для себя, и чем лучше поет, тем больше и полнее услаждает себя, но ему для этого нет нужды в слушателях или в обстановке, почти нет надобности в поводах и в предмете. Любящий петь готов приняться за пение каждую свободную минуту.

Не истинная ли это загадка? Каким образом ложь может нас так утешать? Каким образом мы способны вполне насыщаться не какою-нибудь действительностью и не самым чувством нашей души, а именно этим воплощением чувства в звуки? Тут великая, глубокая тайна. Есть для нас несказанная прелесть и отрада в том, что мы останавливаем минуту среди непрерывно несущегося по-

тока времени, уловляем определенный образ среди зыблущейся и исчезающей действительности. Душа наша, как говорит Платон, родилась в царстве вечных форм, вечных образцов существующего, и она ищет на земле их подобия. Все временное, неполное, случайное, неясное, следовательно, вся наша жизнь со всеми ее событиями и чувствами,— не может удовлетворить нас. Нам нужна неизменная мысль, содержащаяся в бегущих явлениях; нужны незыблемые образы, краски, формы, которые мы могли бы созерцать; нужен определенный строй звуков, который воплощал бы для нас сущность нашего мятущегося чувства. Хоть на короткие сроки, но мы вырываемся из потока жизни и с великою отрадою чувствуем себя в положении вечных существ, которые не живут, а только видят самую глубину всего живущего, смысл всякого чувства, всякого мгновения. С этой стороны Фет совершенно прав: между жизнью и поэзией существует полная противоположность.

Он превосходно понимал всю поэтическую деятельность и часто выражал это понимание с удивительной ясностью. В одном стихотворении он просит красавицу хоть на миг показать вид, что она его любит, и подарить ему розу со своей груди. Ему будет сладок уж один вид любви, и за розу он обещает большую награду — свой стих. Какие бы радости и горести с тобой потом ни случились, говорит он красавице, но этот светлый миг для тебя останется; ты можешь потом испытывать в жизни много потерь,

Но в стихе умиленном найдешь
Эту вечно душистую розу.

И он прав: роза действительно навсегда осталась в волшебном стихе. Вот почему и в том восторженном гимне, который он пропел «Поэтам», он с такою силою останавливается на той же мысли:

В ваших чертогах мой дух окрылился,
Правду провидит он с высей творенья;
Этот листок, что иссох и свалился,
Золотом вечным горит в песнопенье.
Только у вас мимолетные грезы
Старыми в душу глядятся друзьями,
Только у вас благовонные розы
Вечно восторга блистают слезами.

Не следует понимать этих слов так, что стихи поэтов остаются навсегда в памяти людской, что они переживают современность и таким образом, как говорится, увековечивают известные имена и события. Нет, смысл здесь совершенно другой: Фет восхищен тем, что у поэтов все принимает форму вечности, облекается в вечность. Пусть забудут поэта, пусть никто его не читает; но, не-

смотря на это, сам он, да и всякий, кто прочтет, видит эту вечную форму, эту «незыблемую мечту». Для нее уже нет времени, нет перемены, и она так же свежа, как в первый день.

В последнем, невыразимо трогательном стихотворении Фета (23 октября) повторен тот же мотив. Поэт уже дошел тогда до состояния,

Когда дыханье множит муки
И было б сладко не дышать,

он уже называет свой дом «обителью смерти»; и вдруг эту обитель пробудил звук «райской струны», вдруг послышался привет, от которого «вскипела слеза» у поэта и освежила его тяжело горящие, больные глаза. Он пожелал, чтобы эти мгновенные слезы не пропали бесследно «на земле, где все так бrenно», где и сам поэт скоро станет бrenным, и вот он уверяет:

Их сохранит навек нетленно
Пред вами старческая грудь.

Конечно, сохранит! В этих стихах и для того, к кому они обращены, и для всякого, кто прочтет их, навсегда сохранится чувство, которое их внушило, и образ поэта с его старческой грудью, для которой больно дышать, с горящими веками, которые вдруг увлажнились отраднoю слезою.

Фет пел почти накануне своей смерти; ему до конца не изменила эта радость, это лучшее утешение его жизни. Он сам всегда живо чувствовал и исповедовал примиряющую силу того чудного дара, которым обладал. Страдание не может петь; оно издает вопли или молчит. А кто поет, тот уже покори́л свое страдание, тот уже облакает его в вечные образы, созерцание которых есть самое чистое наслаждение. В одном из позднейших стихотворений Фета «муза» отказывается идти на призыв не понимающих ее поэтов и с негодованием говорит:

Страдать! Страдают все, страдает темный зверь
Без упования, без сознанья;
Но перед ним туда навек закрыта дверь,
Где радость теплится страданья.

Для музы из всякого страдания возникает радость, незнакомая

Ожесточенному и черствому душой,

и она хочет приводить нас к этой радости, отучать нас от ожесточения и черствости.

Поэтическое настроение бывает так сильно в певце, что он даже отталкивает от себя действительность, когда она мешает ему предаваться «радости страданья».

Не нужно, не нужно мне проблесков счастья,
Не нужно мне слова и взора участия.
Оставь и дозвожь мне рыдать!
Когда б ты знала, каким сиротливым,
Томительно-сладким, безумно-счастливым
Я горем в душе опьянен!

И в другом месте:

О, я блажен среди страданий!
Как рад, себя и мир забыв,
Я подступающих рыданий
Горячий сдерживать прилив!

Значит, есть страдание, которому сладко предаваться всею душою, есть муки, которые выше и дороже спокойствия, в которых больше счастья, чем в иных радостях. Лучше плакать о несбывшемся блаженстве, чем отказаться от высокого стремления души; бывают потери, в которых мы не хотим никакого утешения, как бывает и смерть, которая лучше жизни.

Поэзия учит нас этому упоению горя, этому «безумному счастью». Мы поднимаемся с нею в какую-то сферу, где все прекрасно, и страдание, и радость, где ничтожен всякий наш личный интерес, а царствуют лишь вечные, божественные образы истинно человеческих чувств и стремлений.

Этот мир — нам родной, но действительность не дает нам в нем оставаться. Очень хорошо поэт сравнивает себя с соловьем, который всю ночь «терзается» над розой, —

Но только что сумрак разгонит денница,
Смолкает зарей отрезвленная птица:
И счастью и песне конец.

КОММЕНТАРИИ

А. А. ФЕТ

Печатается по тексту книги: *Фет А. А.* Полное собрание стихотворений. Т. 1. СПб., 1912.

¹ *Шевырев* Степан Петрович (1806—1864) — поэт, критик, историк и теоретик литературы; *Грановский* Тимофей Николаевич (1813—1855) — историк, общественный деятель, профессор Московского университета в 1839—1855 гг.; *Крюков* Дмитрий Львович (1809—1845) — латинист, профессор Московского университета, участник кружка Герцена; *Крылов* Никита Иванович (1808—1879) — декан юридического факультета Московского университета, профессор римского права; *Редкий* Петр Григорьевич (1808—1891) — правовед, профессор Московского университета.

² *Кавелин* Константин Дмитриевич (1818—1885) — юрист, публицист; *Черкасский* Владимир Александрович (1824—1878) — государственный деятель, играл видную роль в подготовке и проведении реформы 1861 г.

³ *Галахов* Алексей Дмитриевич (1807—1892) — историк литературы, писатель, составитель известной «Русской хрестоматии» (1842), включавшей произведения первоклассных русских авторов.

⁴ *Панаев* Иван Иванович (1812—1862) — писатель, журналист, издатель (совместно с Н. А. Некрасовым) «Современника»; *Дружинин* Александр Васильевич (1824—1864) — писатель, критик, редактор журнала «Библиотека для чтения»; *Лонгинов* Михаил Николаевич (1823—1875) — библиограф, историк литературы; *Анненков* Павел Васильевич (1813—1887) — критик, мемуарист; *Языков* Михаил Александрович (скончался в 1885 г.) — директор стеклянного завода и основатель библиотеки в Новгороде, участник литературных кружков.

⁵ *Боткин* Василий Петрович (1810—1869) — критик.

⁶ *Коренная пустынь* — монастырь (построен в 1597 г.), основание которому было положено около 1295 г., когда один из местных жителей, по преданию, нашел на корне старого дерева образ Богоматери, а под ним ключ с целебной водой.

⁷ *Шопенгауэр* Артур (1788—1860) — немецкий философ; полное название его главного труда: «Мир как воля и представление». *Овидий* (Публий Овидий Назон) (43 до н.э.—ок. 18 н.э.) — древнеримский поэт; *Вергилий* Марон Публий (70—19 до н.э.) — древнеримский поэт; *Катулл* Гай Валерий (ок. 87 — ок. 54 до н.э.) — древнеримский поэт; *Тибулл* Альбий (ок. 50 - 19 до н.э.) — древнеримский поэт; *Марциал* Марк Валерий (ок. 40 — ок. 104) — древнеримский поэт.

ЗАМЕТКИ О ФЕТЕ Н. Н. СТРАХОВА

Печатается по тексту книги: *Фет А. А.* Полное собрание стихотворений. Т. 1. СПб., 1912.

⁸ *medias res* — суть дела (*лат.*).

⁹ *Omnia praeclara tam difficilia quam rara sunt.* Спиноза.— Все прекрасное настолько же трудно, насколько редко. Спиноза (*лат.*). Эти слова восходят к известному выражению Цицерона «Все прекрасное редко».

¹⁰ Строка из трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов» (Сцена «Ночь. Сад. Фонтан»).